

литой и динамической революционной стихии, — а в наличии ее в России 1917 года едва ли кто станет сомневаться, — «углубление революции» представляется поистине ненужным и вместе с тем опасным занятием. В силу самой своей природы революционная стихия неизбежно стремится к безостановочному расширению и углублению, так что заботиться, казалось бы, приходится только о том, как бы ее сузить, пока она не перехлестнула через пределы исторически возможного и как бы не дать ей углубиться — до бездны.

Комментарии. О Феврале

1

Едва ли годовщина большого исторического события может служить законным поводом для дифирамбов или для страстных обличений. Не правильнее ли видеть единственный смысл этих «юбилейных» дат в том, что они дают основание для переоценки вспоминаемого события в свете исторической перспективы и для извлечения из опыта прошлого политических уроков для настоящего?

Это звучит как трюизм, и все же это легче сказать, чем сделать. Для такого пересмотра нужна известная доля объективности, готовность подчинить свои эмоции контролю разума. А это особенно трудно, когда последствия исторического события ощущаются на протяжении долгого времени — и тем труднее, чем ближе мы к нему находимся. Не через сорок лет, а через столетие и даже позже, не только в политической жизни, но и в исторической литературе, во Франции продолжали жить партийные страсти, порожденные революцией. Среди историков, о ней писавших, были и роялисты, и бонапартисты, и сторонники жирондистов, и носители якобинской традиции, и, наконец, либералы и либеральные консерваторы, принимавшие 1789-й год, но отвергавшие 1793-й. И даже фракционная борьба внутри якобинской партии нашла свое запоздалое отражение в научной полемике дантониста Оляра и робеспьериста Матьеза! Но наряду с этой полемикой шла и подлинная научная работа по изучению революции, было собрано и подвергнуто критической разработке огромное количество документальных данных, да и в числе окрашенных той или иной тенденцией сводных работ можно насчитать немало выдающихся историко-литературных достижений.

Русская революция 1917 года этого еще не дождалась. У нас нет пока ни своего Мишле, ни Токвилля, ни Тэна, ни Оляра, ни Мадлена. Научно-историческое ее изучение по-настоящему еще не начиналось. В самой России оно было исключено фактом «вавилонского пленения» исторической науки — ее насильственного подчинения правительственному контролю и коммунистическому руководству. Для эмигрантских историков трудно преодолимые препятствия были созданы недоступностью архивных материалов да и вообще всеми условиями эмигрантского существования. Едва ли, однако, можно свалить всю вину на внешние обстоятельства. Значительную роль сыграло здесь и преобладающее в нашей среде отсутствие исторического подхода к революции, неспособность сохранить при ее обсуждении хотя бы ту долю относительной объективности, которую все же можно найти и у наиболее тенденциозных из названных мною французских историков.

Еще хуже обстоит дело с политическим осмыслением революции. За редкими исключениями то, что можно найти в посвященной революции эмигрантской литературе, ограничивается сведением застарелых политических счетов и запальчивым обличением чужих грехов и ошибок — бесплодной борьбой страстей и эмоций, ничего не выясняющей, а, наоборот, только затемняющей подлинный смысл пережитого нами исторического опыта. И надо сказать прямо: почин такого рода дискуссии принадлежал многочисленным в эмиграции противникам Февраля — в том числе и таким, которые в свое время были его сторонниками. С самого начала эмигрантских споров о Феврале и до настоящей сороковой его годовщины, именно из этого лагеря шли и идут огульные обвинения русских либеральных и демократических кругов, часто объединяемых в общем понятии «русской интеллигенции» как главных или даже единственных виновников нашей национальной трагедии.

За то, что случилось в России в 1917 г., русские либералы и демократы несут свою долю ответственности. Было бы невозможно утверждать, что на совести русской демократии нет никаких исторических грехов, — и я не знаю ни одного либерала или демократа, который бы это утверждал. Напротив, самым ярким примером откровенной «самокритики» в эмигрантской литературе являются иногда спорные, но всегда вдумчивые и поучительные высказывания такого видного русского либерала, как В. А. Маклаков. А вот параллель к этому в писаниях представителей правых кругов эмиграции найти нельзя. Для людей этого лагеря характерна уверенность в своей непогрешимости, и они охотно принимают позу суровых судей и обличителей.

Психологическую основу этого, повторяю — широко распространенного в эмиграции отталкивания от Февраля, — понять, конечно, нетрудно. Недавно, в статье, посвященной годовщине февральской революции, Джордж Кеннан писал о том, что едва ли какое-либо другое историческое событие вызвало в мире такие большие надежды, сменившиеся затем столь же сильным разочарованием. Если такова была реакция внешнего мира, то что же удивляться той гораздо более резкой форме, в какой она оказалась в русской эмиграции? Для сотен тысяч эмигрантов это была одновременно и личная, и национальная катастрофа — источник горечи, обиды и негодования. Понятно и естественное в таких случаях стремление — не столько выяснить причины катастрофы, сколько найти и обличить ее виновников.

И все же как бы ни были понятны эти эмоции, без их преодоления не может быть ни правильной исторической оценки прошлого, ни надлежащих политических из него выводов. Чувства горечи, обиды, негодования — плохие руководители и в истории, и в политике. А если их страстность не ослабевает даже на протяжении четырех десятилетий, то они становятся симптомом опасной психической травмы. И это относится не только к эмоциям более личного характера, но и к оскорбленному национальному чувству: и в нем нет никакой гарантии политической прозорливости, и оно способно ослеплять отдельных людей и целые народы.

Преодоление эмоций нужно и для того, чтобы определить ту долю ответственности за неудачу Февраля, которую несет так называемая левая русская интеллигенция — русские либералы и демократы. Вопрос этот нельзя изолировать от вопроса об ответственности других сил и других течений, действовавших в России накануне революции и во время самой революции. Нельзя обсуждать его в своего рода безвоздушном пространстве, не учитывая ни полученного Февралем исторического наследия, ни той международной обстановки, в которой происходила русская революция. И надо изменить весь подход к вопросу. Я не последователь теории исторического детерминизма и не исключаю моральную оценку исторических деятелей. Но есть все-таки разница между судом историческим и судом уголовным, так же как есть разница между покаянием, актом глубоко личным и интимным, и коллективным обсуждением общенациональной трагедии.

Прежде же всего, надо расчистить почву для такого обсуждения от засоривших ее трафаретных утверждений, часто в корне ошибочных, почти всегда неточных и основанных на игнорировании, казалось бы, твердо установленных и достаточно известных фактов.

2

Если постараться кратко формулировать ту концепцию русских событий 1917 г., которая распространена среди эмигрантских противников и обличителей Февраля, то она может быть сведена к следующим положениям:

— В предреволюционное время Россия благоденствовала и для революции никаких оснований не было.

— К революции стремились и ее старались устроить только левые интеллигенты — либералы, демократы, социалисты.

— В феврале 1917 г., воспользовавшись трудностями военного времени, они ее и устроили.

— Но, получив власть в свои руки, они обнаружили полную неспособность и неподготовленность к государственному управлению и погубили Россию.

Это может показаться преувеличенным упрощением, но нетрудно было бы привести достаточное количество цитат из эмигрантской литературы, развивающих именно эти мысли. Сложностью эта популярная антифевральская концепция не отличается и упростить ее едва ли возможно.

Обсудить в этой статье вопрос о причинах русской революции с той полнотой, какой он заслуживает, я, конечно, не могу. Да для моей настоящей цели это и не нужно. Достаточно будет остановиться на некоторых основных моментах и напомнить несколько общеизвестных и бесспорных фактов. Начну с того, что я не принадлежу к тем, кто утверждает неизбежность революции 1917 г. Об этом я еще недавно писал в своих «Комментариях» по поводу пятидесятой годовщины революции 1905 г. и в связи с обсуждением воспоминаний Ф. А. Степуна* и потому повторяться здесь не буду. Скажу только, что по моему глубокому убеждению у предреволюционной России были определенные, и притом возраставшие, шансы на решение ее внутренних проблем путем мирного эволюционного развития. Россия конституционного периода находилась в состоянии прогресса, а не реакции или застоя. Но от признания этого, на мой взгляд неоспоримого, факта еще очень далеко до утверждения, что в русской государственной и общественной жизни того времени все обстояло благополучно и что ничто, кроме зловредной пропаганды, этому благополучию не угрожало. Первое может быть доказано путем исторического анализа, второе не имеет под собой никакого фактического основания. Россия стояла на пути к разрешению своих основных

* См. книги 43 и 46 «Н. ж.»¹.

проблем, но до самого этого разрешения было еще очень далеко. Над Россией все еще тяготело тяжелое наследие ее исторического прошлого, в ее жизни было еще много застарелых недугов, а в ее государственно-политическом и социально-экономическом строе — много острых противоречий и элементов неустойчивости.

В политической ее жизни, даже и после подавления революции 1905 г., оставался налицо достаточно острый конфликт между властью и общественностью — и притом общественностью не революционной, в это время фактически обессиленной, а общественностью умеренно-оппозиционной. Достаточно напомнить, что уже в третьей Думе произошел разрыв между октябристами и Столыпиным, а в дальнейшем нетрудно проследить процесс полевения «законопослушного» большинства третьеиюньской Думы — процесс постепенно нараставший вплоть до начала мировой войны. Так, даже цензовая Россия не могла примириться с близорукой политикой правительства, не умевшего приспособиться к радикально изменившейся обстановке, а часто и не желавшего с этим изменением примириться. За пределами же Думы, в более демократических общественных кругах, этот конфликт естественно ощущался еще острее.

Не лучше обстояло дело и в области социально-экономической. Конечно, это было время значительного экономического прогресса, благодетельные последствия которого в некоторой мере отражались и на положении широких масс населения. Но и здесь до всенародного благосостояния тоже было еще очень далеко. Во всякой стране и при всяких условиях начальный процесс индустриализации порождает экономические трудности и ведет к обострению социальных противоречий. В такой же стране, как Россия, с подавляющим преобладанием крестьянского населения и с преобладанием в его среде низкой земледельческой техники, эти трудности и противоречия неизбежно принимали особенно острый характер. Нужны были десятилетия настойчивых и непрерывных усилий, чтобы сделать эту проблему менее острой и тем обеспечить мирное ее разрешение. До тех же пор оставалась почва для массового недовольства, и нужно быть слепым к исторической реальности, чтобы не видеть в этом факторе серьезной угрозы для устойчивости общественного строя предреволюционной России.

Положение усугублялось еще тем, что накануне революции и полстолетия после освобождения русское крестьянство, т. е. подавляющее большинство населения России, по объему своих гражданских прав, по бытовым условиям своей жизни и по культурному уровню все еще оставалось в значительной мере обособленным от остальной части нации, на положении своего рода

«граждан второго сорта». Никакие фантастические идиллии вроде тех, какие можно найти в писаниях эмигрантских апологетов царского режима, и даже никакие ссылки на действительно происходившие улучшения в материальных, бытовых и культурных условиях крестьянской жизни — этого основного и чреватого последствиями факта упразднить не могут. Нельзя забывать, что настоящие, серьезные усилия и в области народного образования, и по упразднению гражданской неполноправности крестьянства, и по ликвидации «аграрного перенаселения» Европейской России начались только в двадцатом веке, меньше чем за два десятилетия до революции.

Повторяю, даже и при наличии всех этих, очень сложных и очень трудных проблем возможность эволюционного развития в предреволюционный период в России исключена не была. Но для этого, прежде всего, нужно было время — и время мирное. И как раз этого условия судьба не дала России. Войны никогда не приходят «вовремя». Но для России война 1914 г. пришла особенно не вовремя. Она прервала то едва начавшееся прогрессивное развитие, которое происходило в разных сторонах русской жизни в предшествовавшем ей десятилетии. В 1914 г. конституционный режим насчитывал за собой всего восемь лет существования. Проект всеобщего начального обучения был еще в первой стадии своего осуществления. Столыпинское землеустройство тоже фактически действовало только в течение нескольких лет. Приходится удивляться тому, как часто этот фактор огромного, оказавшегося роковым значения упускается из виду при обсуждении хода событий, приведших к революции. Здесь уместно привести два авторитетных суждения, исходящих из очень различных, можно сказать — диаметрально противоположных, источников. Столыпин говорил, что если России будет обеспечено, по крайней мере, двадцать пять лет мира, то за это время она станет «неузнаваемой». С своей стороны Ленин в 1912 г. мечтал о европейской или хотя бы русско-австрийской войне, но боялся, что правители России и Австрии не сделают ему этого «подарка», а позднее, уже после революции, признавал, что без войны ее бы не было.

О непосредственном влиянии войны на внутреннее положение в России много говорить не приходится. Ни одна из участвовавших в войне стран (даже Германия!), в сущности, не была подготовлена к вооруженному столкновению таких размеров и такой длительности. Теперь, в исторической перспективе, для нас уже ясно, что это была первая в истории «тотальная война». А к тотальной войне Россия была подготовлена менее всех других ее участников — не столько в военном, сколько в экономическом отношении.

И все же я берусь утверждать, что ни военные потери и поражения, понесенные Россией во время войны, ни вставшие перед ней огромные экономические трудности сами по себе фатального значения не имели. При другой морально-психологической атмосфере созданные этими трудностями проблемы, и в тылу, и на фронте, могли бы быть разрешены и катастрофа могла бы быть избегнута. Если неустойчивость русского довоенного государственного и общественного строя делала революцию, при неблагоприятных условиях, *возможной* и если война превратила эту возможность в *вероятность*, то только возникший во время войны острый политический кризис сделал революцию в конечном счете *неизбежной*. А за этот политический кризис ответственность лежала целиком на близорукой, более того — безумной политике власти.

Атмосфера, в которой Россия вступала в войну 1914 г., была глубоко отличной от того, что за десять лет перед тем наблюдалось во время войны русско-японской. Воспринятая как война оборонительная и угрожающая самым жизненным интересам России война 1914 г. вызвала в русских общественно-политических кругах подлинный подъем патриотического чувства. Даже в революционно-социалистической среде оборонческие настроения преобладали над пораженческими. В Думе, устами Керенского, трудовая группа обратилась к народу с призывом отложить дело внутреннего освобождения страны до освобождения ее от врага внешнего. Умеренная думская оппозиция пошла еще дальше в своей готовности заключить перемирие с властью во имя национального объединения. Никакого ответного акта или хотя бы жеста со стороны власти не последовало. Она вела себя так, как будто ничего не произошло. В союзных странах, политически гораздо более сплоченных и устойчивых, вся серьезность момента была полностью осознана: в Англии образовалось коалиционное правительство, во Франции — министерство «священного единения». В России все осталось по-старому — и в составе правительства, и в характере его деятельности, и в его административной практике. Как символ этой неизменности правительство возглавлял все тот же престарелый и бездеятельный Горемыкин, по собственному его выражению, «вынутый из нафталина». Среди членов Совета министров по-прежнему преобладало подозрительное, если не прямо враждебное, отношение и к Думе, и ко всем общественным организациям. Понадобилось потрясение великого галицийского отхода для того, чтобы власть пошла на некоторые уступки. Но и это был всего-навсего преходящий тактический маневр. Очень скоро все снова пошло по-старому — только в гораздо худшей форме. Власть нашла невозможным принять сотрудни-

чество даже с образовавшимся в Думе прогрессивным блоком, объединившим все центральные ее группы. Те более приемлемые для Думы и общественного мнения министры, которые были введены в состав правительства после галицийского поражения, оказались в трагическом положении: избранного верховной властью политического курса они изменить не могли. Одни из них добровольно ушли в отставку, другие были уволены и заменены более «подходящими» и менее независимыми кандидатами. Так, второй раз с начала войны царская власть упустила шанс на хотя бы временное примирение с оппозицией.

Признаюсь, я испытываю чувство некоторой неловкости, напоминая об этих элементарных фактах сравнительно недавней русской истории. Но как же быть, когда сплошь да рядом приходится иметь дело с их сознательным или бессознательным забвением, а то и просто искажением? Ведь если мы хотим выяснить вопрос о причинах февральской революции, то, прежде всего, надо составить себе ясное представление о той обстановке, в которой она произошла, о том, что происходило в русской действительности в непосредственно предшествовавший ей период. Иначе мы никогда не выберемся из области «творимых легенд» и «мифотворчества». Я знаю, что в глазах противников Февраля в создании легенд и мифов была повинна именно оппозиция, якобы намеренно подрывавшая престиж власти распространением порочащих ее ложных слухов. Допустим, что среди распространявшихся тогда слухов были и ложные. Но уже неоспоримым историческим фактом, с тех пор документально установленным, является влияние Распутина на управление страной в эти годы. От этого потрясающего факта уйти никуда нельзя — и его одного достаточно, чтобы охарактеризовать всю глубину падения режима. В один из самых критических моментов русской истории управление огромной империей оказалось в зависимости от прихоти безграмотного и безответственного «случайного человека», сумевшего найти дорогу к самому центру власти.

Не приходится удивляться тому, что с осени 1915 г. — вплоть до кануна революции — и в стране, и в Думе неуклонно крепились оппозиционные настроения. От предложенного ею, но сорванного властью, «гражданского мира» оппозиция вынуждена была перейти к открытому обличению «темных сил», стоявших за властью. В этом и заключалась та «подготовка революции», в которой ее до сих пор продолжают обвинять. Но большинство оппозиции не только не хотело революции, но было озабочено тем, как бы ее предотвратить. Ничего революционного не было и в той программе, которую она тогда предлагала; программа эта сводилась к требова-

нию изменения политического курса и создания «пользующегося общественным доверием» министерства. Всякая сколько-нибудь разумная власть ухватилась бы за этот последний шанс — хотя бы ради собственного своего спасения. Русская же власть того времени оставалась глуха ко всем предостережениям — даже когда они шли от Государственного Совета и Совета объединенного дворянства!

Меньше чем за месяц до революции (4-го февраля 1917 г.) вел. кн. Александр Михайлович отправил государю письмо, заключавшее в себе такую характеристику положения: «...как это ни странно, но правительство есть сегодня тот орган, который подготавливает революцию. Народ ее не хочет, но правительство употребляет все возможные меры, чтобы сделать как можно больше недовольных, и вполне в этом успевает. Мы присутствуем при небывалом зрелище революции сверху, а не снизу».

3

За последние месяцы до революции о ее неизбежности часто говорили, но когда она пришла, она всех застала неподготовленными: и население, и правительство, и политические партии. В той быстроте, с которой она произошла, и той легкости, с которой она одержала победу, было нечто фантастическое. Достаточно было нескольких дней уличных беспорядков в Петербурге и отказа солдат петербургского гарнизона эти беспорядки подавить, чтобы царский режим прекратил свое существование. Трудно даже говорить о его низвержении — он просто рассыпался от первого же толчка. Никаких настоящих попыток к самозащите с его стороны не было — оказалось, что ему не на кого было опереться. Замена его Временным правительством была немедленно же принята и страной, и армией — без каких-либо заметных признаков сопротивления с чьей-либо стороны. Временное правительство начинало свою деятельность в атмосфере всенародного признания.

Февральская революция была одновременно случайна и не случайна. Случайна по тем конкретным обстоятельствам, в которых она произошла, и не случайна по своим историческим корням и своему смыслу. Ее могло бы и не быть, если бы обстоятельства сложились иначе. Но вместе с тем она была завершением всего русского освободительного движения и воплощением стремлений русского народа к свободе и социальной справедливости. В этом сочетании случайного и не случайного, в том, что эта исторически оправданная революция случайно произошла именно в данный момент и в данных обстоятельствах, таилась огромная опасность. Опасна была та быстрота и легкость, с какой

революция одержала свою победу. В отличие от других великих революций Нового времени — английской семнадцатого и французской восемнадцатого века — в русской революции не было той же постепенности развития. В несколько дней Россия, только за десять лет до того еще боровшаяся с самодержавием, сделалась «самой свободной страной в мире». И случилось это во время самой тяжелой войны из всех, которую России до тех пор когда-либо приходилось вести.

Можно сказать без преувеличения, что Временное правительство оказалось в положении, в каком еще никогда ни одно революционное правительство не было. И без учета тех огромных трудностей, с которыми ему с самого же начала пришлось столкнуться, всякая критика его деятельности становится беспредметной. Беспредметно, например, указание на неподготовленность его членов к государственному управлению. Среди членов Временного правительства всех составов было немало людей более даровитых, более образованных и наделенных гораздо большим политическим чутьем, чем большинство министров, действовавших в последние десятилетия царского режима. Да и вообще образцы государственной мудрости были уж не так часты в императорской России! Но дело не в этом, а в том, что вообще нельзя сравнивать проблемы государственного управления в нормальное время с задачами, стоящими перед революционным правительством. У всякого политического режима, имеющего за собой традицию долголетнего существования, есть одно неоценимое преимущество: оно обладает более или менее налаженным аппаратом государственного принуждения и оно может рассчитывать на инерцию подчинения со стороны подвластного ему населения. Революция всегда ослабляет, а часто и разрушает аппарат принуждения и неизбежно сводит на нет инерцию подчинения. Вот почему в тысячу раз легче предотвратить революцию, чем задержать ее в определенных границах после того, как она уже произошла.

Что в России 1917 г. эта последняя задача была гораздо труднее и сложнее, чем в какой-либо другой революции, кажется, не требует особых доказательств. Существует мнение, что при русском историческом наследии и в условиях, созданных войной, задача эта вообще была неразрешимой и Февраль был обречен на поражение. Как правильно указывает М. В. Вишняк, мнение это логически приводит к историческому оправданию Октября. И в этом случае я тоже отказываюсь стать на позицию абсолютного детерминизма. Несмотря на все трудности, созданные и русским прошлым, и войной, торжество большевизма все-таки не было неизбежным. Как известно, не считал его неизбежным и сам Ленин.

Но если так, то тогда необходимо признать, что в крушении Февраля повинны не только внешние обстоятельства, но и человеческие действия. Неправильно было бы, однако, сводить этот вопрос к вопросу об ответственности одного лишь Временного правительства. Речь должна идти об ответственности всей русской демократии, органом которой это правительство являлось. И по своему происхождению, и по своей структуре, и в силу ограниченных пределов *фактической* своей власти Временное правительство не было и не могло быть самодовлеющим фактором — хотя бы даже в той мере, в какой, на свою беду и на беду России, пыталось быть царское правительство предреволюционного времени. Как я уже указывал, в его руках не было ни готового аппарата принуждения, ни вообще сколько-нибудь налаженного административного аппарата. Не могло оно также рассчитывать и на какую-либо инерцию повиновения. В самом прямом и почти буквальном смысле оно могло опираться только на народное доверие — управлять, по известной англо-саксонской формуле, «с согласия управляемых». Все его усилия должны были быть направлены поэтому на мобилизацию этого доверия — и на своевременную организацию на этой основе демократической самозащиты. Я не хочу сказать, что ничего в этом направлении не было сделано — это было бы противно очевидности. Но можно думать, что могло и должно было быть сделано много больше. Но для этого требовалось в свою очередь не только предельное напряжение воли и разума самого правительства, но еще и гораздо большее сплочение и единодушие всей русской демократии. Если это совершенно необходимое единство достигнуто не было, то виною тому явились некоторые пороки русской демократической психологии, анахронические пережитки эпохи подпольной революционной борьбы с самодержавием. Сюда можно отнести и настойчивое противопоставление «революционной» демократии «цензовой» или «буржуазной», и органическое недоверие к государственной власти, сказавшееся в пресловутой формуле «постольку-поскольку», и заботу об «углублении революции», и преувеличенные страхи перед возможностью контрреволюции справа. Никаких оснований для связанных с этим комплексом умственных и психологических навыков в русской реальности того времени не было. При созданных революцией условиях и при соотношении социальных сил в стране опасаться «цензовиков» было нечего. Временное правительство, даже и без специально над ним установленного контроля, никакой антинародной политики вести не стало бы да и фактически вести не могло. Заботиться об «углублении революции» едва ли когда-либо приходится, так как всякая революция

и без того имеет тенденцию к углублению, а в нашей революции отсутствие сдерживающих преград должно было бы быть вполне очевидным. По тем же причинам нечего было опасаться и правой контрреволюции — никаких наличных сил для осуществления ее в России не было. А между тем этот страх перед мнимой опасностью в какой-то мере повлиял если не на игнорирование (о нем говорить едва ли приходится), то на недооценку единственной подлинной опасности — контрреволюции большевистской.

Накануне октябрьского переворота Ленин, пытаясь убедить своих колеблющихся соратников в необходимости немедленных действий, ссылался на то, что «стопроцентной гарантии» на успех история революционерам никогда не дает. Это относится, конечно, ко всякой политике — не только к революционной. Такой гарантии на успех у русской демократии в 1917 г. не было и быть не могло. Но если бы она тогда действовала как единое целое, если бы все демократические партии безоговорочно сплотились вокруг Временного правительства, если бы они все вели решительную борьбу с максималистскими тенденциями как в своей собственной среде, так и в народных массах, — то шансы на преодоление большевистской опасности и на спасение России от катастрофы, несомненно, возросли бы во много раз.

4

Катастрофа предотвращена не была, и в сознании современников февральская революция связалась с представлением о неудаче и поражении. Но сегодня, в сороковую ее годовщину, не пора ли вспомнить, чем она была для огромного большинства русского народа, и оценить ее значение в русской истории?

После разгрома декабрьского восстания 1825 г. декабрист Батеньков писал в своих показаниях: «Глас свободы раздавался не долее нескольких часов, но и то приятно, что он раздавался». В 1917 г. «глас свободы» зазвучал в России с неизмеримо большей силой и звучал он все-таки дольше, чем несколько часов. Ни поражение Февраля, ни все то, что за этим последовало, не могут свести на нет этого его исторического значения. Февральская революция была для России периодом всестороннего и общенационального освобождения — снятия всех пут, еще остававшихся на русском народе, полного осуществления политической и гражданской свободы, уничтожения всякой неравноправности. Она завершала долгий и трудный процесс русского раскрепощения — завершала дело, начатое освобождением крестьян и продолженное конституционными реформами начала века. Только она, сделав возможным

восстановление патриаршества, принесла с собою конец и тому «вавилонскому пленению» Русской церкви, о котором в свое время писал Достоевский.

Нужна большая доля предубеждения и, я бы сказал, исторической близорукости, чтобы отрицать огромное моральное значение всех этих освободительных актов. Это был призыв к народной самодеятельности, к утверждению человеческого и гражданского достоинства — и призыв этот не остался без ответа. Подлинная народная реакция на февральскую революцию мало походила на ту картину всеобщего разгильдяйства и самоуправства, разгула низменных страстей и своекорыстных вождельний, которую можно найти в воспоминаниях некоторых «очевидцев». В отрицательных явлениях недостатка не было, но было и нечто другое и более существенное. Иначе не мог бы русский народ оказать большевистскому соблазну той доли сопротивления, какую он ему фактически оказал. В нашей эмигрантской литературе о февральской революции до такой степени преобладает изображение и осуждение отрицательных ее сторон, что о положительных процессах, о новых формах общественной работы, о попытках создания нового порядка — в ней почти ничего найти нельзя. Не удосужилась она до сих пор заняться и изучением конструктивной деятельности Временного правительства, его законодательных мероприятий и проектов. Его история писалась и пишется почти исключительно с партийно-политической точки зрения и с целью обличения его грехов и дефектов.

А между тем это было правительство, которое вело страну к Учредительному собранию и народоправству, к радикальной аграрной реформе, к переустройству России на федеративных началах.

«Вело, но не довело» — могут мне сказать на это скептики. Но этот аргумент, исходящий из факта исторической неудачи, далеко не так убедителен, как он может показаться. Человеческая история полна неудач, но далеко не все из них оказались творчески бесплодными. В истории не бывает ни окончательных побед, ни окончательных поражений, и в ходе времени иная победа может обернуться поражением, а поражение превратиться в победу. И это относится особенно к революциям крупного масштаба. Непреложных законов в истории нет, и потому историческими аналогиями приходится пользоваться с большой осторожностью. Но тем не менее в общем развитии различных революций все-таки можно установить некоторую закономерность, основанную на относительном постоянстве психологической их основы — человеческая природа если и меняется, то чрезвычайно медленно.

И в английской, и во французской революции мы находим одну и ту же смену умеренной фазы — радикальной, свободолою-

бивых стремлений — революционным деспотизмом, программы общенародного характера — сектантской идеологией. И в обоих случаях длительные исторические последствия революции оказались гораздо ближе к ее началу, чем к ее концу. Несмотря на так называемые реставрации, возвращения к старому режиму ни в Англии, ни во Франции не произошло. И здесь, и там основные «завоевания революции» укрепились в национальной жизни. Но как Англия не стала кромвелевским «обществом святых», так и Франция не сделалась робеспьеровской «республикой добродетели». В исторической перспективе победившие в революции оказались побежденными, а потерпевшие поражение — победителями. И произошло это потому, что то, чего добивались и чего не могли добиться революционные «неудачники», по существу отвечало назревшим народным потребностям, и в этом смысле было поставлено историей на очередь.

Таким же рисуется мне и будущее русского Февраля. И потому я думаю, что хоронить его еще рано. Не надо поддаваться гипнозу длительности существования советского режима и преувеличивать беспримерность его природы. Человеческую природу даже и тоталитарному режиму изменить не удалось — и прежде всего не удалось искоренить в человеке стремление к свободе и к справедливости. У нас есть теперь новые тому доказательства. Они заключаются не только в венгерских и польских событиях, но и в том, что происходит на нашей родине. Пусть это только начало долгого и трудного пути, но в направлении его можно не сомневаться. В его конце лежит историческое оправдание Февраля.

